

Валерия Кухаренко

О том, что было...

Среди наших земляков, потомственных одесситов, особое место занимают те, кто за всю жизнь если и покидали родной город, то на короткое время. Они родились, учились, создавали семьи, работали и работают в Одессе. Их воспоминания не просто интересны, они – бесценны, ибо дают нынешнему поколению объективную, полную и объемную картину жизни города в разные периоды истории. Среди них и Валерия Андреевна Кухаренко. Всю жизнь она прожила в одном ареале города, практически в одном доме: родилась на Пушкинской, 33, а когда в него попала фашистская бомба, переселилась на соседнюю Троицкую, где пишет свои книги и сегодня.

Вся студенческая и профессиональная жизнь Валерии Андреевны неразрывно связана с Одесским национальным университетом имени Мечникова. После окончания вуза в 1950 году стала преподавателем, была заведующей кафедрой, деканом факультета романо-германской филологии. Доктор филологических наук профессор Кухаренко ушла на пенсию в 20015-м, проработав здесь 65 лет.



О своем детстве, закончившемся 22 июня 1941 года, Валерия Андреевна рассказала в книге «Записки о том, чего больше нет», которая вышла в 2014 году и стала библиографической редкостью. Отрывки мы печатали в нашем альманахе.

Недавно вышло в свет продолжение ее мемуаров, которые начинаются с того, чем заканчивалась первая книга. Мы увидим Одессу глазами тринадцатилетней девочки, застигнутой, как и наш город, как и вся страна, страшной войной...

Из этой, первой, главы мы выбрали несколько фрагментов и предлагаем сегодня читателям.

Важно сказать, что воспоминания профессора Кухаренко, начавшиеся с предвоенных лет, рассказывают и о том, чем мы жили вчера, и чем – сегодня. Краткий искренний и доверительный рассказ о долгой жизни, полной надежд, достижений, разочарований, радостей и печали...

Феликс Кохрихт

Война пришла в Одессу с первых своих дней: мы узнали слово «бомбежка», мы научились различать по звуку, куда несется смерть и разрушение, и пытались от этого бежать. Куда-нибудь. Многие эвакуировались со своими предприятиями...

Эвакуация началась в августе. И проходила она как-то незаметно для города. Паника началась в конце сентября, когда от всех подступов к городу большой кровью отбивали вражеские силы. Но город еще жил – работали пекарни, работал, правда, весьма отощавший Привоз. Новой в картине города была цепочка тачечников на всех улицах, ведущих в порт, – они везли то добро, которое придется потом выбросить по дороге, так как «корабль не резиновый», как справедливо замечали матросы...

...Это было первое потрясение в моей жизни: по-моему, в июле (или в августе?) большая бомба попала в 4-этажный дом на углу Успенской (Чичерина) и Осипова. Тогда наш двор был еще в полном составе, и мы ходили смотреть на страшную искореженность железа и камня. По-видимому, на одном из верхних этажей жил музыкант, потому что, нелепо вставший боком, опираясь

на какие-то камни, стоял без ног рояль с оторванной крышкой. Струны были открыты, и они звенели. Рояль как будто пел погребальную песнь – по погибшим там людям, да и по тем, которые еще оставались, но ненадолго.

«Надолго» или «ненадолго» можно было услышать на каждом квартале и в каждом дворе. Напоминаю: единственным источником информации был радиорупор, закрепленный на самом верху столба на углу Троицкой и Пушкинской.

...Вечером, вот уж вечером все отводили душу – до рева сирены, при котором все бросались в подвалы и мины обоих дворов. Папа специально сгреб уголь в нашей кладовке не ближе к ее входу-выходу, чтобы легче набирать уголь в ведро, а наоборот, забросал всю заднюю часть кладовки, освободив место для двух скамеек, на которых помещалось все население нашего подвала в тревожном ожидании.

Здесь должна сказать о роли моей мамы в этой ежевечерней процедуре. Семья Зленко – мамина – священников в роду не имела. Более того, не могу сказать, что моя бабушка Прасковья Дмитриевна отличалась набожностью. Во всяком случае, я никогда не видела ее молящейся или собирающейся в церковь, хотя в ее крохотной комнатухе у Клады в Отраде висела в углу маленькая иконка. У бабушки было 7 детей – 5 девочек и 2 мальчика. Не могу сказать, что я близко видела быт всех, однако знаю, что моя мама с младых ногтей отличалась особым пиететом ко всему, что имело хоть какое-то отношение к Богу. Хотя она пришла на Пушкинскую бесприданницей, с одним стареньким чемоданчиком, в нем помимо скромного нижнего белья были, в основном, иконы. Икона в доме в конце 1920-х – начале 1930-х годов была равносильна императорскому стягу. Однако мама не спрятала их под кровать, но с любовью украсила ими от потолка до маленького столика целый угол комнаты («залы»). Заходившие к нам соседи, естественно, входили в кухонную дверь и там же, в кухне, оставались со своими неотложными делами: сколько сахара на кислую сливу, чтобы повидло было «ну, знаете, полусладкое»? Или «вот, купила курицу, а она (продавщица) ему завернула гребешок, и я не разглядела, что это петух, да еще и старый» и т. п. В «залу» не входил

практически никто. Я не помню ни единого «приема» – ни дни рождения, ни крупные (мамины) праздники – Пасха и Рождество – не отмечались приглашением гостей. Много лет спустя мои абсолютно атеистические советские дети (и я с ними) отлично знали слова «Пасха» и «Рождество», но последние обозначали только смену меню и приготовление обожаемой всеми кутьи, а потом крашенных яиц.

...Однако когда началась бомбежка, и имя Бога вспоминали люди, его давно забывшие или вообще не знавшие (интересно, а такие были?), это имя звучало все чаще в наших самодельных бомбоубежищах. И мама отважилась.

В первый раз Одессу бомбили к вечеру 22-го июня. Тогда кроме громких воплей мам, собиравших свою паству (как будто мама была защитой от ужаса, сыпавшегося с неба на землю), а также общей суеты, когда все обитатели дома высыпали во двор и устроили в нем броуновское движение, никто даже не подумал о слове «бомбоубежище» и о том, что в качестве этого самого убежища можно использовать наши подвалы и «мины» (что-то вроде кусочка катакомбы), которые верой и правдой служили многочисленным жильцам холодильниками.*

И на второй день войны, когда заревела портовая сирена, все бросились к «своим» подвалам. Поскольку наша квартира была, по сути, началом подвала, мама сначала зашла в комнату и сняла со стены самую нижнюю иконку, с которой и проследовала в собственно подвал, где уже сидели и Ксения с мужем, и вечная Александровна, и нервничающий папа со мной. В подвале уже зажгли свечку, и мамина иконка была видна всем, но никто ничего не сказал.

* Свой первый «настоящий» холодильник, сверкающий белизной и хромом, я увидела летом 1954 года. Мне было 27 лет, и я уже была «ученой дамой». Его появлению в нашем доме предшествовала перепалка между моим мужем Николаем и мной. Перепалка показывает всю глубину моей провинциальной отсталости: Николай пришел с работы и говорит: «У нас для передовиков производства привезли 100 холодильников. Возьмем?» – на что я, экономная на всю оставшуюся жизнь после военных лет, искренне ответила: «Зачем? У нас такой холодный погреб!».

Все слова пришли позже, и не только от наших непосредственных соседей. Никто не упрекнул ее в отсталости и приверженности к несуществующему Богу. Все попросили «Дайте и мне, если у вас есть лишняя». Так по двору разошелся мамин иконостас. Остались иконы, важные для нее в связи с какими-либо памятными событиями «мирного», еще николаевского времени. В общей сложности из двух десятков у нас остались 3 крупные иконы, все в окладах и с висящими перед ними лампадами.

Теперь все бежали в свои подвалы, сжимая в руке, спрятав в кармане халата или под пиджаком мамину иконку. Независимо от длительности тревоги, объявленной портовым ревуном, сидение проходило в абсолютном молчании. Даже дети сидели тихо. Я знаю, что мама при этом молча, не шевеля губами, молилась. Она так мне и сказала в какой-то июньский день: «Я молюсь, чтобы бомба пролетела мимо».

А Одессу между тем уже окружили, и единственный путь in and out остался через море и порт. Они всегда были кормильцами города. По-моему, у нас не было семьи, прямо или косвенно не связанной с портом и его многочисленными судами и береговыми предприятиями. Теперь его гудок, который одесситы называли «ревун», и который оповещал город о тумане, затруднявшем работы в акватории, а также проход судов в обоих направлениях мимо маяка, вот этот домашний знакомый ревун сообщал о начале и конце налета бомбардировщиков.

Как жила Одесса летом 1941 года? По-видимому, как и вся страна, мы думали, что война – это испытание, это не про нас, ибо война против могущественного СССР – это безумие, которое продлится месяц «максимум», добавляли дворовые политики...

...Шел второй месяц войны. И хотя корреспонденты всех одесских газет и наш рупор на Троицкой/Пушкинской уверяли всех, как сильна и могуча наша армия, какая у нас первостатейная военная техника, сколько уже роздано орденов-медалей героям боев, бои эти самые не реагировали на те слова, которые мы читали и слышали, и строевым шагом приближались к нам.

Началась эвакуация заводов и ценных работников. Охваченные паникой не самые ценные сметали с полок немногих еще открытых продовольственных магазинов все, что могло называться пищей в настоящем или (главное!) в будущем. Потекли в порт сначала прерывистые, а потом сплошные ручейки, ручьи, а к концу сентября – реки эвакуирующихся.

Наш двор опустел. Ушли, уехали, уплыли все, кто смог это осуществить любым способом и любыми средствами. Исчезли наши философствующие политики. Из многочисленных работников-мужчин остался один наш сосед, Ксенин не военнообязанный (одна почка) муж-молдаванин. Из детей – я и Ната «с того двора».

